

# БУРСАЦКИЕ ТИПЫ

## Очерк второй. Окончание

Николай ПОМЯЛОВСКИЙ

Теперь расскажем ещё событие.

Трое великовозрастных зашли по дороге к певчему, своему исключённому товарищу. Певчего нашли они лежащего на постели и страдающего похмельем. К нему в то время должен был зайти сапожник, затем чтобы получить с него долгу три рубля. Певчий накануне того дня с клятвою и божбою обещался ему заплатить непременно, но из запасных денег у певца осталось около половины.

— Что, братцы, делать? — вскричал встревоженный певчий.

— Живо сюда! — отвечал ему один из великовозрастных.

— А что?

— Обьегорим. Ложись сейчас на стол.

— Зачем?

— Не разговаривай, а ложись.

Поставили стол в переднем углу, под образами. Певчий улёгся на стол, в головах его зажгли восковую свечку, покрыли его белой простынёй, один великовозрастный взял псалтырь, подошёл к певчему и оказал ему:

— Умри!

Тот притворился мёртвым. Бурсак стал читать над ним псалтырь, как над покойником, скорчив великопостную харю.

Вошёл сапожник и, услышав монотонное чтение, понял, что в доме есть мёртвый. Он набожно перекрестился.

— Кто это? — спросил он.

— Товарищ, — отвечали ему печально.

— Который это?

— Барсук.

Сапожник сначала почесал в затылке, подумав про себя: «Эх, пропали мои денежки!», но потом умилился духом и сказал бурсакам:

— Ведь вот, господа, за покойником-то долгишко остался, да уж бог с ним: грех на мёртвом искать.

— Вот и видно доброго человека! — было ответом. — Его, признаться, и похоронить не на что. Начал, брат, ты доброе дело, так и кончил бы: дай что-нибудь на поминки бедному человеку.

Сапожник вынул полтину и подал им. Те благодарили его.

Сапожнику, естественно, захотелось взглянуть на мёртвого. Он, перекрестясь, проговорил:

— Дай хоть взгляну на него.

Барсук до того притворился мёртвым, что хоть сейчас тащи на кладбище. Открыли его лицо: с похмелья оно было бледно и имело мертвенный вид.

Сапожник, по православному обычаю, приложился губами ко лбу певчего, а тот, сделав под простынёй фигу, думал про себя:

«Вот те кукиш! а не свечка».

Когда сапожник удалился, мёртвый воскрес и с диким хохотом вскочил на стол.

— Теперь, ребята, поминки справлять.

— Четвертную!

— Огурцов да селёдку!

То и другое было мигом добыто, и, поя разные духовные канты, перемешивая их смехом и остротами, справляли поминальную тризну о упокоении раба божия Барсука.

Бурсаки с торжеством и гордостью передавали друг другу рассказ об этом событии.

Но дело этим не кончилось.

Спустя месяц времени сапожник встретил под вечер Барсука.

Барсук и тут нашёлся.

Скрестив руки и сверкая глазами, он грозно приблизился к сапожнику и диким голосом возопил:

— Неправедные да погибнут!

Сапожник растерялся: ему представилось, что он видит покойника, который воротился с того света, чтобы наказать его за то, что он дерзнул прийти к мёртвому и требовать от него свой долг. Он перекрестился и с ужасом бросился бежать куда глаза глядят. Долго он потом рассказывал, как являлся к нему мертвец и хотел утащить его едва ли не в тартарары.

Этот случай ещё более утешил бурсу.

Последний скандал из банных походов бурсаков.

Мехалка, воровски пробираясь по базару и увидев, что в пряничной лавке отворена дверь, заглянул в неё. Он увидел в ней торговца, который стоял в дальнем углу, к двери спиною. Мехалка был не тактик, а стратегик и, много не рассуждая, стремительно бросился на пряник из стычных ковриг, который был величиною в добрую доску, и потом выбежал вон из лавки. За ним с криком «грабят!» устремился торговец. Мехалка, обременённый ношею, бежал медленно и был в опасности человека, которого сейчас треснут по шее. Он употребил следующий стратегический приём: выждал приближение к себе торговца и, неожиданно обернувшись к нему, поднял над головой ковригу и ударил ею в лицо торговца. Потом пустился с обломком ковриги, оставшимся в его руках.

Мехалка был замечательная личность. Он не вор, а чисто разбойник. Известно было, что он, выходя из церкви, схватил попавшуюся ему навстречу собачонку и расшиб ей голову о тумбу, а потом закусил свой подвиг сальною свечою. За то хотели его отпороть не на живот, а на смерть. Но по случаю страстной недели и пасхальной экзекуция была отложена до фоминной. Когда наступил день возмездия и под предводительством смотрителя вошли в класс четыре солдата с огромным количеством розог, у Мехалки засверкали глаза, как у дикого зверя, и он, энергически сжав кулаки и стиснув зубы, бросился к отворённому окну и вскочил на подоконник с быстротою кошки. (Класс был во втором этаже.)

— Только подступись, размозжу себе голову о камни! — вскричал он. На убеждения смотрителя покориться он отвечал, что бросится с высоты второго этажа и тем накажет начальство. Смотритель плюнул и ушёл. Мехалке за такие дикости вручили волчий паспорт.

Известно, что впоследствии он, Аксютка и ещё один артист нанялись в кузницу черно-рабочими. Мехалка, работая здоровым молотом по наковальне, добывал себе грош на свой образец, вместе со своими товарищами. Забрался он на соседний двор, разломал там извозчичьи дрожки и всё железо утащил к себе в кузницу. Карьера его кончилась дьячеством, и он сделался истинным мучителем своего священника.

Вот вам, господа, весёлая картинка бурсацкой бани, в повести о которой одни лишь голые факты. К ним нечего прибавлять, они сами за себя говорят.

После бани бурсаки, поев всего краденого, были в добром расположении духа; меньше раздавалось швычков и подзатыльников, реже творилось всеобщих смазей и вообще в классе было довольно тихо и скромно.

В Камчатке собралось несколько человек и ведут беседу о старине и древних героях бурсу. Митаха занимал среди них первое место.

— Эх, господа! то ли дело было в старину!

— В старину живали деда веселей своих внучат.

— Зато, брат, и пороли, — сказал Митаха.

— А что?

— Да вот вам случай.

— Расскажи, брат Митаха, расскажи.

— Только чур не перебивать.

Митаха начал:

— Были у нас три брата: Каля, Миля и Жуля. Это были силачи тогдашнего времени и обыкновенно занимались шитьём сапогов. Они однажды отправились в город с товарищами, чтобы кутнуть хорошенько на стороне. Кутнули добре. Когда шли назад, то орал песню на пять улиц и встретились с казаками. Те пригласили их молчать. Наша братия ругаться. Драка. Бурсаки отдули казаков на обе корки и утекли в училище, будучи уверены, что их дело шито-крыто. Ан нет: на другой день начались розыски. Всё всплыло наружу. Вот была порка-то! Драли тогда под колокольчиком, среди двора, слева и справа, закачивали штук по триста.

— Братцы, я вот тоже знаю... — заговорил один.

— Сказано, не перебивать! — ответили ему.

— Сволочь!

— Животина!

— *Мазена!*

Замечательно, что в бурсе *Мазена* было ругательное слово, и, вероятно, основание тому историческое; но во времена нами описываемой бурсы из пятисот человек вряд ли пятеро знали о существовании Мазепы. Здесь это имя было слово нарицательное, а не собственное. По преимуществу называли *мазенами* толсторожих. В бурсе всё своеобразно и оригинально. Бурсак, перебивший рассказ, замолчал.

— Ну так что же, Митаха?

— А вот слушайте. Собрались все ученики на двор, пришёл инспектор, явились сторожа и принесена огромная куча распаренных лоз. Каля, Миля и Жуля стояли в толпе. Им, братцы, успели товарищи вкатить перед сечением по полштофу водки. Растянули Калю, потом Милю, потом Жулю. Но хотя и драли их пьяных, хоть они и закусывали себе руку до крови, однако после порки их отливали водой и на рогожке стащили в больницу за мертво. Вот так *чехвостили!*

— А зачем они закусывали руку?

— Фаля!

— Бардадым!

— Ведь закуси руку, так оттягивает: укусишь руку, руке больно, а сзади и не слышишь в то время.

— Тогда же, братцы, вышел дивный случай.

— Ну-ка.

— При этой страшной порке был один приходский ученик, только что привезённый из дому, которого мамаша гладила по головке; а здесь он увидел, что гладят по другому месту. Он был мальчик худенький, маленький, бледненький, одним словом, вовсе не бурсак, а сволочь. Как он увидел такую знатную порку, так чуть не умер со страху. Он стал учиться отлично и каждый шаг следил за собою, чтобы не заслужить розгу. Когда секли кого-нибудь, он дрожал и бледнел. Учитель заметил это и возненавидел его, потому что терпеть не мог, когда кто-нибудь сильно кричал под лозами. Учителю захотелось попробовать, каков новичок под розгами. Придравшись к какому-то случаю, он отпорол новичка так, что тот долго после того таскал из тела своего прутья. Ученик после порки упал в обморок. Этим он окончательно вооружил против себя учителя, который стал преследовать его и каждый раз порол жестоко. Ученику до того тяжело было жить, что он решил бежать из училища. Его поймали. Тогда он сначала хотел повеситься, но потом решил на следующую штуку. Дождался он ночи, достал перочинный нож, разрезал себе руку и своей кровью написал на бумажке: «Дьявол, продаю тебе свою душу, только избавь меня от сеченья».

Внимание слушателей чрезвычайно было напряжено.

— С этой бумажкой, — продолжал Митаха, — он залез ночью в двенадцать часов под печь. Что там с ним было, неизвестно. Оттуда его вытащили мертвым. Он говорил, что видел чёрта. Начальство, узнав его проделку, высекло его под колоколом, после чего, говорят, он

был снесён в больницу, где отдал душу богу.

Такой рассказ подействовал даже на крепкое воображение бурсаков. Разговоры смолкли, и все впали в раздумье. Ученики понимали, а в эту минуту особенно ясно сознали, что и при их житье-бытье подчас хоть продавай душу чёрту.

Когда впечатление несколько ослабело, кто-то спросил:

— А кто из вас, братцы, видел дьявола? Никто не отозвался.

— А домового видел кто?

Оказалось, что домовых видели многие, а если кто сам не видел, то знал таких, которые видели. В бурсе предрассудки и суеверие были так же сильны, как и в простом народе: верили в леших, домовых, водяных, русалок, ведьм, колдунов, заговоры и приметы. Словом, эта сторона бурсацкой личности выражала глубокое невежество, которое начальство и не думало искоренять, потому что и само не всегда было свободно от суеверия.

В бурсе была даже доморощенная каббалистика. Так, почти вся бурса верила, что если вынуть из пера сухую перепонку и положить её в книгу, то забудешь урок из той книги; если же такую перепонку положить под тюфяк спящего, то с ним случится грех, за который заставят поцеловать Лягву. Считалось дурным — книгу после урока оставить открытой, потому что урок забудешь. Когда кто-нибудь мистифицировал, говоря, что идёт учитель, ему кричали: «Чего, сволочь, врешь-то? хочется, чтоб злым пришёл!» Для того же, чтобы не спросил учитель, была примета у некоторых учеников держаться за какую-нибудь часть своего тела... В училище одно время был даже свой туземный коллун. Это был ученик, прибывший в местную бурсу из Киева, некто *Бегути*. Его прозвали так за то, что он, рассказывая сказку, выговаривал вместо «бежали, бежали» — «бегути, бегути». Он брался угадывать, у кого сколько в деревне коров, в семействе сестёр, в кармане денег и т.д. Многие серьёзно верили ему.

Кстати, мы расскажем проделку Аксютки над Гришкецом. Аксютка вот уже целую неделю подговаривает товарищей, чтобы они показывали Гришкецу, что серьёзно считают его за колдуна. Когда это состоялось, многие стали обращаться к нему с просьбою поворожить им. Гришкец сначала принимал это за шутку, но товарищи выдерживали свою роль отлично, так что Гришкец, наконец, принял их затею за чистую монету. Тогда он перепугался и стал умолять товарищей, чтобы они не считали его за колдуна. Но они, видя его тревогу, усилили свою назойливость. Гришкец едва не потерял рассудка. Когда Аксютка, сидя подле него в столовой, умолял Гришкеца научить его колдовать, то Гришкец обратился к инспектору с такими словами: «Я, ей-богу, господин инспектор, не умею колдовать. Возьму ли я такой грех на душу?» И он, крестясь, уверял, что Аксютка врёт всё.

Чертовщина для разговоров бурсаков — предмет неистощимый.

Но мы, однако, незаметно перешли опять к воспоминаниям давних дней. Мы приведём два рассказа.

Ученикам было запрещено начальством купаться, и, по его приказанию, полиция преследовала бурсаков на реке. Надзиратель, видя, что ученики не унимаются, решил, во что бы то ни стало изловить их и представить к начальству. Каля, Миля и Жуля взбесились и, взяв с собою нескольких товарищей, на другой же день нарочно отправились купаться. Нагрянул надзиратель и накрыл их на месте преступления; но они схватили его, зажали ему рот, чтобы не кричал, и потом выкупали его. После этой операции они завязали ему брюки у сапог, так что из них образовались два мешка, и набили брюки песком до самого пояса; после этого с хохотом бросили его и уткнулись восвояси. Несчастный долго барахтался, не могши подняться с земли. Когда его освободили, он закаялся беспокоить учеников.

Одному из товарищей надо было справить именины, а денег было всего пять рублей. Это было летом. Идёт наш бедняга со своими друзьями по берегу реки да горюет. В одном месте они натолкнулись на кучку рабочих, которые оставили свою барку и на берегу варили кашу. «Хлеб да соль!» — говорят. — «Хлеба-соли кушать». — «Но без водки что за еда?» — «Где же её взять?» — «А вот деньги», — сказал бурсак, подавая на полведерную. Мужики обрадовались и тотчас добыли водки. Бурсаки напоили их допьяна, и когда они удалились спать в барку, то угнали её и вместе с мужиками продали.

Такие рассказы и воспоминания о подвигах бурсаков ученики всегда выслушивали охотно и с полным одобрением.

Но ударил звонок, и начались классы.

Мы сказали, что начинаются классы, а начинаются они следующим образом.

— Поймал вошь! — сказал один из камчатников.

— Будет дождь.

— Я две рядом.

— Будет с градом.

— Вчетвером.

— Будет гром.

Какой-то великовозрастный ни к селу ни к городу стал подщёлкивать словами:

— Раз-два — голова, три-четыре — прицепили, пять-шесть — в ряд снести, семь-восемь — сено косим, девять-десять — сено весить, одиннадцать-двенадцать — на улице бранятся.

Потом другой великовозрастный, вытянув из сапога берестяную тавлинку, затянул благим гласом какой-то кант и зарядил нос с присвистом.

В училище нюханье табаку было развито в высшей степени. Иначе и нельзя: во время занятий, на которых одна лампа о трёх рожках давала свет на сто и более человек, поневоле рябило в глазах, а когда ученик заряжал понюшку табаку, то глаза его делались на несколько минут светлее. Во время классов, из которых каждый по два часа, монотонные ответы уроков учителю нагоняли непобедимый сон, — и вот когда ученик понюхает табаку, то поневоле раскроет глаза. Табак был запрещён начальством, но товарищество не хотело и знать этого запрещения. Табак покупался у Захаренки, который молол его из махорки и потому продавал довольно дёшево. И в отношении нюханья табаку в бурсе были свои особенности. Так, нюхали со швычка, брали перстью, но особенно замечательно, когда табак раскладывался по указательному пальцу до кисти и вбирался в нос сильным вдыханием. Бывали пари, кто больше вынюхает в один приём, и случалось, что задорный нюхальщик, решившись на непосильную понюшку и приняв её, падал в обморок.

До прихода учителя ученики успели сыграть в *краски*. Выбрали из среды себя *ангела* и *чёрта*, выбрали хозяина; другим участникам в игре были розданы названия той или другой краски, которые не сообщались ни ангелу, ни чёрту. Вот приходит ангел и стучит он в двери.

— Кто тут? — спрашивает хозяин.

— Ангел.

— За чем?

— За краской.

— За какой?

— За зелёной.

— Кто зелёная краска, иди к ангелу.

В свою очередь приходит к хозяину чёрт, выбирает себе краску и уводит её.

Так продолжается до тех пор, пока не разберутся все краски. Тогда сила ангела становится одесную от хозяина, а сила дьявола ошую. Каждая из партий образует из себя цепь, хватая друг друга сзади за животы. Ангел и чёрт сцепляются руками, — и вот взревели и ангелы, и черти — и началась таскотня. Долго шла борьба, но чёрт-таки одолел.

Вдруг отворилась дверь. В класс вошёл господин огромного роста, в коричневой шинели. Всё смолкло. Это был учитель Иван Михайлович Лобов. Цензор прочитал молитву «Царю небесный». Ученики стояли, ожидая приказа сесть. Сели. Великий педагог отправился к столу, за которым и сел на грязном стуле. Он взял нотату. Многие вздрогнули. Немного помолчав, Лобов крикнул:

— Аксютка!

— Здесь, — смело отвечал Аксютка.

— Ты опять?

— Не могу учиться.

— А отчего до сих пор учился?

— Теперь не могу.

— К печке!.. *на воздушях его!*

Аксютка озлил учителя. Он с ним выделывал штуки, на которые никто не решался. Этот отчасти описанный нами вор имел отличные способности, память у него была обширнейшая, и, вероятно, он был умнее всех в классе; ничего не стоило ему прочитать урок раза два, и он отвечал его слово в слово. Учиться, значит, было легко ему. Но он вдруг прекращал заниматься, поддразнивая учителя назло. Его секли, но ничего не могли поделать с ним. Тогда его поселяли в Камчатку. Но лишь только он добивался своего, как опять начинал учиться отлично, его переводили на первую парту, и лишь только переводили, он опять запевал:

*Ай люди, люли, люли!*

*А в нотате всё нули!*

После такой песни Аксютка опять ничего не делал. Снова повторялось сеченье. Он у Лобова несколько раз переходил из Камчатки на первую парту и обратно.

Наконец Лобов рассвирепел, и раздалось его грозное *на воздушях!*

Тотчас же выскочили четверо парней, схватили его, раздели, взяли за руки и ноги, так что он повис в горизонтальном положении, а справа и слева начался свист лоз.

Взвыв Аксютка, а всё-таки кричит:

— Не могу учиться! ей-богу, не могу!

— Положите ему под нос книгу.

Положили.

— Учи!

— Не могу! хоть образ со стены снять, не могу.

— Сейчас же и учи!

На этот раз Аксютка правду кричал, что не может учиться, потому что лежал под розгами, и учитель это сознавал, но всё-таки продержал его висящим над книгой достаточно.

— Бросьте эту тварь.

Аксютка пробрался в Камчатку.

— Дать ему *сугубое раза!*

Товарищи повскакали с парт, бросились на Аксютку и зарядили ему в голову картечи, то есть швычков.

Взвыв Аксютка:

— Хоть убейте, не могу учиться!

Лобов имел обыкновение ходить в класс с длинным берёзовым хлыстом. Он поднялся с места и вытянул Аксютку вдоль спины, а тот взвыв:

— Ей-богу, не могу учиться!

Лобов мало-помалу успокоился, и класс продолжался обычным порядком. Спустя несколько времени он крикнул:

— Цензор, квасу!

Цензор отправился за квасом и принёс его. Лобов, прихлёбывая из оловянной кружки квас, просматривал нотату и назначал по фамилиям, кому к печке — для сеченья, кому к доске — на колени, кому — коленями на ребро парты, кому — без обеда, кому — в город не ходить. Класс Лобова разукрасился всевозможно расставленными фигурами. Потом он стал спрашивать знающих учеников, поправляя отвечающего, когда он отвечал не слово в слово, и запивая бурсацкую премудрость круто заваренным квасом. Он сидел обыкновенно в калошах, не снимая своей красноватого цвета шинели. Когда спрошенный им ученик кончил свой ответ, Лобов полез в карман шинели и вынул из него довольно большой пирог, который стал упивать с аппетитом. Бурсаки с жадностью посмотрели на пожираемый пирог. Так Лобов имел обычаи завтракать во время класса, мешая пищу духовную с пищей телесной.

После экзаминации пяти учеников он стал дремать и, наконец, заснул, легонько всхрапывая. Отвечавший ученик должен был дожидаться, пока не проснётся великий педагог и не примется опять за дело. Лобов никогда уроков не объяснял — жирно, дескать, будет, а отме-

чал ногтем в книжке *с этих до этих*, предоставляя ученикам выучить урок к *следующему*, то есть классу.

Что этот великий педагог в своей юности — недосечён или пересечён?

Морфей легонько посвистывал себе через нос педагога, а ученики, наказанные на колени и столбом, воспользовались этим. Поднялся лёгкий шумок, и начались невинные игры бурсаков, как-то: в шашки, святцы (карты), костяшки, щипчики, швычки и т.п.

Ударил звонок, учитель проснулся, и после обычной молитвы и по выходе учителя класс наполнился обычным шумом.

Второй класс, латинский, занимал некто Долбёжин. Долбёжин был тоже огромного роста господин; он был человек чахоточный и раздражительный и строг до крайности. С ним шутить никто не любил, ругался он в классе до того неприлично, что и сказать нельзя. У него было положено за священнейшую обязанность в продолжение курса непременно пересечь всех — и прилежных, и скромных, так чтобы ни один не ушёл от лозы. Его мучил бес какой-то бурсацкой зависти, когда из его класса к концу курса остались всё-таки несечёнными ни разу двое, державших себя крайне осторожно. Придаться было не к чему, но он выискал-таки случай. Однажды он пропустил было уже свой класс и ученики весело ожидали звонка, но вдруг минут за пять до него Долбёжин показался на конце училищного двора; лицо его было как-то особенно грозно (он был сильно выпивши), взоры его были устремлены на окна своего класса. Многие струхнули. Один из несечённых в это время взглянул в окно и потом быстро скрылся в классе.

— Елеонский (несечённый)! — крикнул, входя в класс, Долбёжин.

Елеонский, трясась всем телом, подошёл к нему.

Долбёжин ударил его в лицо кулаком и окровавил его; из носу и рта потекла кровь.

Елеонский ни слова не отвечал. Бледный и дрожащий, он смотрел бессмысленно на учителя.

— Отодрать его!

Елеонского отодрали.

Остался один только несечённый. Того, напротив, отодрал Долбёжин в самом весёлом расположении духа.

— Душенька, — сказал он ему улыбаясь, — поди к порогу.

— Да за что же?

— За то, что тебя ни разу не секли.

Тот и не думал отвечать, что это не причина, и отправился к порогу.

Не осталось ни одного несечённого в классе.

Но, несмотря на всё это, трудно поверить, его не только уважало товарищество, но и любило. Долбёжин сам был точно отпетый. Он, как и товарищество, терпеть не мог «городских» и одному из них дал самое неприличное прозвище; фискала, пришедшего к нему наушничать, он отодрал не на живот, а на смерть; ученики вроде Гороблагодатского были его любимцами. Однажды *Блоха* решился изумить товарищество и под лозами Долбёжина молчал, как будто и не его дерут: Долбёжин при всех назвал его молодцом, тогда как за ту же проделку Лобов вознёс его на воздушных, а потом просолил насквозь сеченное тело. Долбёжин не брал с родителей взяток и до того был честен, что составленный им список учеников с отметками об их учении за треть он читал ученикам и позволял устраивать диспуты тем, которые претендовали на высшее место. Вот за это-то и любили его.

Сегодня были только два случая в классе. Вызван был *Копыта*. Он взял книжку латинскую и хотел было остаться переводить за партою.

— На середину! — сказал Долбёжин.

*На серёдке* отвечать было хуже, чем за партой, потому что в первом случае товарищи *подсказывали* ученику. Отвечающий способен был расслышать самый тонкий звук, а если не расслыхивал, то, глядя искоса, он угадывал слово по движению губ.

Копыта вышел *на серёдку*. Здесь он *срезался* (то же, что в гимназии провалился) и не мог перевести одного пункта.

— Не так! — сказал Долбёжин.

Тот перевёл иначе.

— Не так!

Копыта на новый манер.

— К печке!

Копыте дали *всего* десять ударов. Он обрадовался, что так легко отделался, и уже направился за парту, но услышал голос Долбёжина:

— Переводи снова.

Тот перевёл ему на новый манер.

— Ещё раз к печке!

Копыте дали ещё десять лоз и снова заставили переводить. На этот раз Копыта сказал, что он не может и придумать ещё новой вариации, за что и услышал:

— К печке!

Десять дали, и снова переводить. Копыта напряг все усилия памяти и рассудка. Ничего не выходило.

— Ну! — сказал Долбёжин, и уже палец указательный его поднялся по направлению к печке.

Способности Копыты были страшно напряжены, мозг работал в сто сил лошадиных, и вот, точно озарение свыше, сложилась в голове новая вариация. Он сказал её.

— Наконец-то! — одобрил его Долбёжин. — Довольно с тебя. Пошёл за парту. Вались дерево на дерево! — Вслед за тем Долбёжин обратился к *Трезорке*:

— Вокабулы приготовил?

— Нет.

— Что? который это раз?

— Если угодно, приготовлю, — отвечал Трезорка бойко.

Трезорка был городской и привык к довольно свободному обращению. Его развязность взбесила Долбёжина. Он побледнел, на лбу надулись жилы.

— Ах ты, подлец! — закричал он и сильной рукой поднял в воздухе здоровый лексикон Кронеберга. Лексикон взвился и пролетел через класс; ещё немного — так и влип бы в голову бойкого мальчика. Он потом начал ругаться и плевать; в его чахоточной груди клокотала мокрота; дерзость озадачила его, но он почему-то не посмел отпороть Трезорку, — вероятно, потому, что отец Трезорки был довольно значительное лицо в городе. И действительно, завязалось было дело, но кончилось всё-таки ничем.

В классе после этого скандала наступила мёртвая тишина. Все дрожали. Один только беззаботный Карась, притом ещё сидевший на первой парте, на глазах разъярённого учителя ухитрился уснуть. Его вдруг спросил учитель, а он, не слыша этого, тихо всхрапывал. Товарищ его толкнул, но уже было поздно: у учителя сверкали глазки.

— К печке!

— Розог нет, — сказал секундатор.

— А давеча чем сёк?

— Те изломались.

— Сходи за новыми.

Карась между тем клялся и божился, что встал в три часа, чтобы приготовить урок, что у него голова болит, а в существе дела на него одурь напала от латынщины, и он смежил свои карасиные очи.

— Я тебе!

Явился секундатор, но без розог.

— Розги все вышли, — сказал он.

Учитель опять вспыхнул, поднялся со стула и отправился к той парте, где сидел секундатор. Он отыскивал свежие розги. Карась запищал:

— Простите!..

Но учитель в это время позабыл Карася, а направился к секундатору. Взяв пук длинных

лоз за жидкий конец, он начал бить его комлем и по спине, и в брюхо, и в плечи, и по ногам.

Раздался звонок. Пропели молитву «Достойно есть...». Между тем Карась спасся. Этот же учитель, озлившийся на Трезорку за умеренный оттенок дерзости в его ответе, прощал и даже с удовольствием встречал дерзости очень крупные. Так, однажды на публичном экзамене пришлось держать ответ некоему *Ваксе*. Долбёжин из-под стола показал ему кулак и проговорил тихо: «Только срежься, я тебе!» Вакса показал ему свой кулак и прошептал непечатную брань. Это только утешило учителя.

Наконец, Долбёжин был циник. Он с тем же Ваксой рассуждал о самых грязных вещах. Тот ему отвечал не стесняясь и откровенно, и оба они импровизировали самым грязным образом на разные темы.

Заглянула бурса в столовую, «щей негодных похлебала и опять в свой класс идёт». Кормили скверно; хлебная мука мешалась с мякиной; нередко порции говядины летели за окно и гнили потом на дворе; один только Комедо собирал порций по шести и потреблял их; в супе попадались маленькие беловатые червячки, в каше мышиный помёт; только при одном экономе пища была безукоризненна, но такие экономы были редкость в бурсе. (Впрочем, в своём месте мы дойдём и до этого эконома.)

Лобов граничил по своему характеру к Тавле, Долбёжин к Гороблагодатскому. Перейдём теперь к характеристике третьего лица, которое, собственно говоря, не составляло цельного типа, а было помесью двух названных нами. Этот господин носил имя Батьки.

Он был красавец собою, с открытым, грудным и объёмистым басом, лицо — кровь с молоком. Он, между прочим, преподавал так называемый «Устав», то есть науку, как править церковные службы. Эта наука излагалась им самым странным образом. Вместо того чтобы выдать церковные книги на руки учеников, ознакомить с теми книгами наглядным образом, показать по самым книгам, когда, что и где читалось и пелось, — вместо этого выдавались записочки, в которых по порядку службы обозначались только первые слова каждого чтения или пения. Таких заголовков целые листы писчей бумаги. До того трудно и тошно было ученье и зубренье, что изо ста с лишком учеников знало урок, случалось, только четверо. Кажется, ясно, что тут уже не ученики виноваты. Правда, могло случиться, что ученики назло учителю делали стачку не учить урока, но такие стачки назывались бунтом и разрешались великим сечением класса; но тут была не стачка, а просто физическая и умственная невозможность вызубрить всё это. И это понимал сам Батька. Несмотря на всё это, он поочередно сёк весь класс: так парта за партой и выдвигалась к печке. Хотя в этих случаях секундаторы были крайне снисходительны, но снисходительны только к тем, кого любили. Секундаторы были очень изобретательны и свою профессию знали специально. Когда Батька заподозревал секундатора в мирволенье и шёл свидетельствовать производство секуции, тогда оказывалось, что тело наказываемого было покрыто синими полосами: секрет в том, что секундатор намазывал лозы чёрнилами, потом стирал их слегка; достаточно было лёгкого прикосновения их, чтобы сделать фальшивый рубец. Чёрт знает на что расходовался ум воспитанника! Когда приходилось, что три описанные учителя занимали уроки в один и тот же день, то одного и того же ученика секли несколько раз. Так, Карася, случилось, отодрали четыре раза в один день (в продолжение училищной жизни непременно раз четырёхста). Но сегодня не было устава. Занимались другим предметом. Беда, когда Батька приходил пьян! Тогда лицо его было бледно, а чёрные огромные глаза особенно глубоки и блестящи. Сегодня эта беда и случилась. Все вздрогнули, как только он вошёл. По лицу все узнали, что будет классу великое горе. Взял он нотату. Мучительную и страшную минуту пережил класс. Батька вызвал Элпаху. Элпаху, трясясь телом и содрогаясь душою, вышел на середину.

— Я... — голос его пресёкся...

— Что ты? — спокойным, но глубоко сосредоточенно-злым голосом спросил его Батька.

— Я... сегодня... именинник...

— Так с ангелом! — Октава его упала на две ноты ниже, а сердце свирепело, и в нём развивались кровожадность и зверские инстинкты... Страшен он был в эту минуту.

— Я... — заговорил страдалец, — был в церкви...

— Доброе дело!

— Я потому и не успел выучить урока... — погасающим голосом продолжал Элпах, видя, как с мертвенно бледного лица смотрели на него неподвижные, блестящие сосредоточенной ненавистью глаза...

— Ты думаешь, что радуется твой ангел на небесах?

Элпах молчал; в его сердце пробивалась слабая надежда, что его не накажут, потому что Батькин гнев иногда истощался в нравоучениях, которыми увлекался он на полчаса и более. Элпах ждал, что будет.

— Он плачет о твоей лени.

Элпах ни жив ни мёртв.

— И ты должен плакать. Поди сюда.

Элпах ни с места.

— Поди же сюда! — тем же ровным, спокойным голосом повторил Батька.

Элпах подошёл к нему.

— Встань тут, около меня, на колени.

Дрожащий Элпах встал.

— Твой ангел плачет, и ты заплачешь. Положи свою голову ко мне на колени.

Тот медленно исполнил это, не понимая, что с ним хотят делать. Но вот он сильно вскрикнул и поднял голову, за которую ухватился руками.

— Лежи, лежи! — сказал ему Батька.

Отчего вскрикнул Элпах? А оттого, что Батька взял щепоть волос его, сильной рукой вздёнул их кверху, вырвал с корнем и, постепенно разводя свои красивые пальцы, сдувал с них волосы и продолжал дуть, пока они летели в воздухе.

— Лежи, лежи! — повторил Батька.

Элпах с воем опустил свою голову на колени его, как на эшафот...

Батька взял вторую щепоть Элпахиных волос и опять выдернул их с корнем и опять пустил их по воздуху.

— Простите, ради бога! — взмолился страдалец.

— Лежи, лежи! — отвечал Батька. Что-то сатанинское было в его ровных октавах...

Ещё медленнее и хладнокровнее он повторил ту же операцию в третий раз.

Элпах рыдал мучительно.

— Теперь поди встань на колени посреди класса! — сказал Батька, когда улетел последний волос Элпахи и пропал в воздухе.

Батька потом долго сидел, понуря голову. Не почувствовал ли он угрызений совести?

— Стой на коленях *целый год!*

Значит, совесть его была спокойна. Батька имел обыкновение ставить на колени на целый год, на целую треть, на месяц: как его класс, так и становись. Беспощадный человек!

В продолжение всего класса Батька разбойничал. Чего-чего он ни придумывал: заставлял *кланяться печке, целовать розги*, сёк и *солил сечённого*, одно слово — артист в своём деле, да под пьяную ещё руку.

Но всё-таки приходится сказать, что большая часть товарищества уважала его по тем же причинам, по каким и Долбёжина, и только меньшинство ненавидело его и боялось. В описываемый нами период бурсы нравственный уровень товарищества и начальства был почти одинаков. Но впоследствии увидим, что в товариществе и в лучшей половине начальства развились иные начала. Что описываю теперь — скверно, но что дальше, то лучше становилось товарищество и добрее люди из начальства. И жаль и досадно мне, что некоторые писатели заявили, будто я всё исчерпал относительно бурсы в «Зимнем вечере бурсы». Уже в следующем очерке вы увидите добрые задатки для будущего в жизни бурсаков, хотя и там будет много гадкого и гадкого. Бурса будет в моих очерках, как и на деле было, постепенно улучшаться, — только позвольте описать так, как было, не прибавляя, не убавляя. Всякое дело строится не сразу, а должно пройти многие фазы развития. Ещё очерков восемь, и бурса, даст бог, выяснится окончательно. Если придётся ограничиться только этими двумя очерками —

«Зимний вечер в бурсе» и «Бурсацкие типы», — то будет очень жаль, потому что читатель тогда не получит полного понятия о том, что такое бурса, и потому относительно составит о ней ложное представление.

**1862**